

Правда жизни и правда поэзии

Была такая популярная некогда песня под названием “Давай поговорим”:

А я говорю: “Роса”, – говорю.
Она говорит: “Мокро”.
А я говорю: “Краса”, – говорю.
Она говорит: “Блѣкло”.
“Смотри, – говорю, – луна, – говорю, –
и звѣздочки, словно крошки”.
Она говорит: “То лампа горит,
и вьются над ней мошки”.

В шутовой, пародийной форме в этих строчках выражена квинтэссенция жизненного диалога, который обычно происходит в любви между поэтом и непоэтом, говорящих на разных языках. Можно привести много красноречивых тому примеров. Пушкин, с трепетом читающий Натали только что написанные строки: “Тебя мне ниспослал, моя Мадонна...” и – недовольно бурчащее в ответ: “Как ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!”

Маяковский, готовый положить “Сахарой горящую щѣку” под ноги любимой, дарящий ей корону, “а в короне слова мои – радугой судорог”, слышащий в ответ лилино капризное: “Хочу автомобильчик!”

Марина Цветаева, в ответ на свою жаркую ночную страсть получавшая ушат холодной воды от художника Н. Вышеславцева: “Ночью нужно спать” (“ты – каменный, а я пою, ты – памятник, а я летаю”). Впрочем, что касается Цветаевой, то это несовпадение фаз ожидало её с каждым, кого она любила, слишком велик был масштаб её личности, слишком сложен язык чувств, на котором говорила её душа. “Певцу и первенцу” “в мире мер”, в мире серости и прозы существовать невыносимо, невозможно.

Они – иностранцы, инородцы, изгои среди людей. “В сем христианнейшем из миров поэты – жида”. Их языка не понимают, над дарами их сердца смеются. “Но ты мне душу предлагаешь – на кой мне чѣрт душа твоя!”

Ещё одна пара – Александр Блок и Любовь Менделеева. Блок – не просто поэт – живое воплощение Поэзии, сама эфемерность, отрешѣнность, тайна. Вот как описала его Ахматова в “Поэме без героя”:

Демон сам с улыбкой Тамары,
но такие таятся чары
в этом страшном дымном лице;
плоть, почти что ставшая духом,
и античный локон над ухом –
всѣ таинственно в пришлеце.

Его называли лунатиком лиризма. Потустороннее для Блока – это его стихия, его родное, кровное. Казалось, от него исходит трепетное касание иных миров. И – Люба Менделеева, дочь знаменитого химика, румяная, статная, твёрдо стоящая на земле, с рациональным складом ума, пышущая физическим и душевным здоровьем. Та, кого поэт назвал Величавой Вечной женой, Владычицей Вселенной, кому хотел поклоняться и молиться, как святыне, неуютно чувствовала себя в этой роли, не желая втискивать свою живую жизнь в рамки навязанного ей образа отвлечённого идеала. Непонимание, несовпадение их миров – с самого начала знакомства. Блок упоённо посвящает ей торжественные высокопарные стихи:

Вхожу я в тайные храмы,
свершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
в мерцанье красных лампад.

А “Владычица Вселенной”, морща носик, в это время заносит в свой дневник обидные для поэта слова: “Этот анемичный фат с рыбьим темпераментом и глазами...”. Блок пишет ей восторженные письма: “Ты моя Первая Тайна и Последняя моя Надежда. Я найду для тебя слова и звуки священные, царственные, пророческие...”. Люба недоумевает: “Как будто и любовь, но в сущности – одни литературные разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идей, в запевающие образы”.

Он жаждал “сверхслов” и “сверхобъятий”. А она была обычной женщиной и хотела тепла, ласки, простых человеческих отношений. И доверяла дневнику своё разочарование: “Никогда не заблудились мы в цветущих кустах”. Он написал ей 317 писем, посвятил 687 стихов. А ей нужнее всего был хотя бы один поцелуй...

Устав от ожидания земных проявлений чувств, Прекрасная Дама решает порвать с поклонником и пишет ему прощальное письмо: “Мне стало ясно, до чего мы чужды друг другу, до чего Вы меня не понимаете. Ведь Вы смотрите на меня как на какую-то отвлечённую идею, любили свою фантазию, свой философский идеал... Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно”.

Она была человеком трезвым, уравновешенным, чуждым всякой невнятице, и все его безудержные завихрения вызывали у неё протест: “Пожалуйста, без мистики”. Блок спорил, разъясняя ей настойчиво в письмах суть своего мировоззрения: “Мистицизм – это моя природа. От него я пишу стихи. Через него я полюбил тебя. Это не просто любовь – не такая, как между неведающими и неверующими. Я знаю многое, больше, чем другие. Позволь мне не убивать себя самого, свою душу. Когда ты говоришь: “Пожалуйста, без мистики”, ты как будто произносишь смертный приговор над моими стихами. А они поют Тебе и о Тебе”.

Каждый по-своему был прав. В словах Менделеевой – правда жизни, здравого смысла. У Блока – своя правда, понятная лишь посвящённым: правда Высшего смысла, правда поэзии. “И в жизни, и в стихах – корень один, – пишет он. – Он в стихах. А жизнь – это просто кое-как”. Но то, что приемлемо для поэта, невозможно для обычной земной женщины.

Эти две правды – несовместимы. Если бы Блок принял правду жизни – правду Любы, она убила бы поэзию, стихи о Прекрасной Даме, ибо жене таких слов не пишут. (Байрон как-то заметил: “Как вы думаете, если бы Лаура была женой Петrarки, стал бы он писать всю жизнь сонеты?”). Но случилось обратное: правда поэзии Блока убила жизнь, любовь, семейное счастье, исказила, иссушила, сделала невозможным. Его это, впрочем, не очень удручает. “Чем хуже жизнь, тем лучше можно творить”, – записывает он в дневнике.

В истории литературы уже выработался шаблон: поэт поклоняется женщине заурядной, не умеющей оценить его. К их истории эта мерка не подходит. Любовь Менделеева была сильной, мудрой, самоотверженной женщиной, прекрасно знавшей цену своему мужу и очень любившей его. Но она была слишком живой и земной, чтобы жить химерами.

Все знают, что Блок посвящал стихи Прекрасной Даме, но мало кому известно, что Прекрасная Дама тоже писала стихи Блоку, и в них выразилось её искреннее, подлинное, непридуманное чувство:

Зачем ты вызвал меня
из тьмы безвестности – и бросил?
Зачем вознёс меня
к вершинам вечности – и бросил?
Зачем венчал меня
коронай звёздной – и бросил?
Зачем сковал судьбу
кольцом железным – и бросил?

Пусть так. Люблю тебя.
Люблю навек, хоть ты и бросил.

Он пишет ей: “Благодарю тебя, что ты продолжаешь быть со мной, несмотря на своё, несмотря на моё”. Единство противоположностей? Но... правда поэзии зовёт его прочь, вдаль, ввысь, в иные миры, в чужие объятия.

И мне, как всем, всё тот же жребий
мерещится в грядущей мгле:
опять любить её на небе
и изменить ей на земле.

Позже Блок напишет стихотворный цикл “Снежная маска”, посвящённый Наталье Волоховой, где слиты воедино любовная стихия и снежная, метель и мятеж чувств.

И твоя ли неизбежность
совлекла меня с пути,
и твоя ли страсть и нежность
хочет вьюгой изойти?

Спустя полвека Н. Волохова опубликует свои воспоминания о Блоке, где с холодной сдержанностью будет опровергать всё, что писалось в тех стихах, уверяя, что отношения их были только дружескими и поэт сильно преувеличил её роль в своей жизни. Допустим, что так. Пусть не было ночного бега саней, о котором говорится в “Снежной маске”, не было поцелуев “на запрокинутом лице”, пусть всё это – поэтические фантазии Блока. Но ведь поэзия существует не ради протокольного изображения реалий. Она улавливает невидимые духовные связи с такой же точностью, как физические приборы регистрируют скрытые от уха и глаза процессы. Влюблённый Блок и не хотел “реалий” – интрижки и обычной женской любви. Он называл Волохову падучей звездой и кометой, он любил в ней свою мечту. Но... “что же делать, если обманула/ Та мечта, как всякая мечта”. И эта женщина тоже оказалась внутренне чуждой поэту. Она любила другого – более земного и понятного ей.

Однако жизнь по бумажным законам поэзии не только ломала и корёжила живую жизнь, она в то же время и помогала выжить в бездуховном пространстве.

Ты проклянёшь в мученьях невозможных
всю жизнь за то, что некого любить!
Но есть ответ в моих стихах тревожных:
их тайный жар тебе поможет жить.

Их тайный жар нам помогает жить и сейчас. Жизнь преходяща, поэзия же – бессмертна. Е. Замятин в своих воспоминаниях о Блоке хорошо сказал об этом: “Человек Блок так полно, так щедро всего себя перелил в стихи, что он будет с нами, пока живы будут его стихи. Поэт же Блок будет жив, пока живы будут мечтатели, а это племя у нас в России бессмертно”.

Ещё один пример: Владислав Ходасевич и Нина Берберова. Они были диаметрально разными, можно сказать, психологически несовместимыми людьми. Волна и камень, лёд и пламень... Даже внешне они, казалось, совершенно не подходили друг другу. Из воспоминаний О. Грудцовой: “Мне представлялось, что он чудовищно некрасив: лицо серо-коричневого цвета, лоб весь в морщинах, маленькие широко расставленные глаза смотрят из-под очков... Я никак не могла понять, что влекло к нему эту молодую, статную,

красивую женщину с большими глазами и прекрасным цветом лица”.

Когда читаешь воспоминания Нины Берберовой, не оставляет ощущение, что она в глубине души тоже была убеждена в своём неоспоримом превосходстве, причём не только внешнем. Вот самое начало их жизни – 1922 год. Берберова вспоминает их отъезд за границу, дорожные мешки на полу товарного вагона. “Да, там был и его Пушкин, все 8 томов. Но я уже тогда знала, что никогда не смогу полностью идентифицироваться с Ходасевичем. Россия не была для меня Пушкиным только. Она лежала вне литературных категорий”.

По тону мемуаристики чувствуется, что она видит себя более многогранной и цельной личностью, нежели её спутник, зацикленный на литературе и поэзии. “Полностью идентифицироваться” она не могла с ним не только в отношении к родине. Это была ещё крохотная, едва заметная трещинка, которая постепенно разрасталась в непроходимую пропасть.

1924 год. Они едут в Венецию, где когда-то в юности Ходасевич переживал роман с Евгенией Муратовой, своей “царевной”. Берберова пишет: “Он захвачен всем тем, что было здесь тринадцать лет назад, и ходит искать следы прежних теней, водит и меня искать их”. О нет, она не ревнует. Лишь недоумевает: “Я не вполне понимаю его: если всё это уже было им “выжато в стихи”, то почему оно всё ещё волнует его, действует на него?”

Сухая, прагматичная и целеустремлённая натура Берберовой не в силах понять всё, что не поддаётся здравому смыслу и житейской логике. В её тоне сквозит плохо скрываемое самодовольство: “Он боится мира, а я не боюсь. Он боится будущего, а я к нему рвусь. Он боится нищеты, обид, грозы, толпы, пожара, землетресения...”. Но поэт, не обладая трезвым взглядом на вещи, обладает глубинным знанием жизни, которое, как известно, “умножает печаль”.

Хожу – и в ужасе внимаю
шум, не внимаемый никем.
Руками уши зажимаю –
всё тот же звук! А между тем...
И каждый ваш неслышный шёпот,
и каждый вам незримый свет
обогащают смутный опыт
Психеи, падающей в бред.

“Смутный опыт” – это совсем не то же самое, что опыт жизненный. Он не помогает жить, скорее, наоборот, мешает, терзая душу. “И как-то тяжело, больно даже/ Душою жить – в который раз...”. Природа, наделив поэта рецепторами, с помощью которых он способен принимать особые, мало кому внятные сигналы, вручив “дар тайнослышанья тяжёлый”, в то же время лишила его элементарных защитных свойств, оставив наедине со своими комплексами, болячками, дурными предчувствиями, фобиями, снами.

Стиху простому, рифме скудной
я вверю тайный трепет тот,
что подымает шёрстку мыши
и сердце маленькое жжёт.

В то время как его спутница – решительная сторонница активной жизни, где всё – всецело в её воле, в её руках. “Моей природе противно всякое расщепление или раздвоение”, – пишет она. Сравните это с ходасевичевским:

И в этой жизни мне дороже
всех гармонических красот
дрожь, побежавшая по коже,
иль ужаса холодный пот.

Иль сон, где, некогда единый,
взрываясь, разлетаюсь я,
как грязь, разбрызганная шиной
по чуждым сферам бытия.

У Ходасевича – рефлексия, раздвоенность сознания, депрессия, тоска. У Берберовой – напор и натиск, безапелляционная уверенность в себе, в своих силах, в своей правоте. Она живёт, отсекая всё лишнее, бесплотное и бесплодное, мешающее неуклонному движению вперёд. Никакой сумятицы чувств, никаких неразрешимых противоречий, путаницы и хаоса в душевном мире, которые, как она пишет, “если их не унять, разрушат человека”. Ни “дымки грусти”, ни “меланхолической слезы” о “навски утраченном”. Вместо всего этого – “стосвечовая лампочка, светящая мне прямо в книгу, где всё договорено, всё досказано, ясный день, чёрная ночь...”. “Бытие есть единственная реальность”, – утверждает она.

Берберова уходит от Ходасевича, прожив с ним без малого 10 лет. Уходит, как вырывается на свободу. Ей хотелось жить, осуществлять себя, а миссия её больного, нервного, измождённого мужа была уже, как ей казалось, завершена. “Жить, жить, жить”, – исступлённо повторяет она. Но парадокс в том, что не ей – деятельной и бесстрашной, а ему, хилому и хандрящему, был открыт потаённый, глубинный смысл жизни, тот “смутный опыт”, которым он обогатит души грядущих поколений.

Так что же предпочесть – жизненную правду простых смертных или правду поэтов, верховную правду бытия? На чьей стороне истина? Умом уговаривая себя жить по законам реальности, идти по “проторённым тропам”, на которых, как известно, лежит счастье, душой тянешься к высшему смыслу поэзии, к несчастливому счастью поэтов, которое велит “выбираться своей колеёй”, пусть даже гибельной. “Главное дело поэта – создать кусочек вечности

ценой гибели всего временного, даже ценой собственной жизни”, – считал Г. Иванов.

Правда жизни – это правда момента, у неё короткие ноги и близорукие глаза. Правда поэзии – это то Большое, что “видится на расстоянье”, это утешительный “человечества сон золотой”, о котором писал Беранже, это то, что всегда остаётся у человека, когда уже ничего не остаётся, это великое цветаевское “А зато... а зато – всё”.